

Письма Диккенсу/ рассказ

Category: Heкаýalar, Kitарсу

написано kitарсу | 24 января, 2025

Письма Диккенсу/ рассказ ПИСЬМА ДИККЕНСУ

Конечно, глупо было приезжать в Лондон на две недели.

Но и оставаться на все новогодние праздники в Москве, если ты не ешь салат оливье, не запускаешь петарды и лет десять уже не включал телевизор...Нет, упаси боже, я не сноб. Просто не умею попадать в такт общей радости. Да и вообще в такт – это не про меня. Если считать высокие адаптивные способности одним из основных признаков человека разумного, то я – вовсе не человек. Последний раз мне было по-настоящему хорошо и спокойно, когда меня, первого из класса, приняли в комсомол. Мне четырнадцать лет, ВХУТЕМАС – еще школа ваянья... Синяя школьная форма, залоснившаяся на заднице и локтях, синие пятна прыщей на взмокшем от новенького нимба лбу, в последний раз взвившиеся кострами синие ночи. Крошечная кровавая капля комсомольского значка, смуглые сиськи Ленки Бардышевой, натянувшие белую рубашку из Детского мира, острое чувство сопричастности, весь многомиллионный советский народ.

– Что тебе надобно, старче?

– Мне? Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый год, пожалуйста.

– Отвали и не задерживай очередь, идиот!

Конечно, Лондон оказался ужасным, но в Москве я бы просто свихнулся от ожидания.

Кинг Кросс, отель Нортумберленд, тот самый, где у злосчастного сэра Генри украли ботинок. Сначала, как водится, колобок, потом – три медведя, Айболит. Но рано или поздно дело дойдет и до старины Холмса. Узкий дом серого кирпича, в ряду таких же, стиснутых, как зубы. Стеклянная дверь. Я вхожу, стряхиваю с волос поросль капель. Стоп, еще одна цитата! Отвяжись, я тебя умоляю! Пожалуйста – и еще одна. В крошечном фойе темно, как

во времена газовых фонарей, и пусто. Восемь утра. Ночной перелет. Сейчас только упасть, достать чернил и плакать. Роняю на пол рюкзак, откашливаюсь, сильно, до хруста, тру уши. Никого. Sorry, говорю я громко, и двойное короткое «р» прыгает по прихожей, как град по подоконнику. Что я буду делать, если ему не понравится Булгаков? Что я вообще буду делать, по правде говоря?

Она поднимается из-за стойки, где, оказывается, спокойно сидела все это время, невидимо наблюдая за моими ужимками и прыжками – и я сразу остро чувствую себя тем, кем, собственно, и являюсь. Сорокалетним сутулым неудачником в джинсах, захлестанных грязью до самых колен. Она такая красивая, что этого просто не может быть. Невероятная. Вся – узкая и одновременно круглая. Узкая, круглая талия, узкие длинные пальцы, неожиданно тяжелая, взрослая грудь, едва уместившаяся на узкой грудной клетке. Синеватые белки, синеватая кожа, идеальной лепки круглая гладкая голова на узкой и круглой шее. Губы такие, что стыдно смотреть. Негра. Жалкий интеллигент, я мысленно одергиваю себя за мысленную неполиткорректность, но тут же – мысленно же – смиряюсь. Она действительно негра. Точнее просто не скажешь. Прачеловек. Идеальное существо. Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Арт-объект.

Секунду мы смотрим друг на друга, она – тяжело и недружелюбно, словно я представляю угрозу чему-то важному в ее жизни, чему-то особенно дорогому – может быть, сумочке или даже котенку. Я протираю очки, руки трясутся так, что самому стыдно, и тяну из кармана неровно сложенный листок с регистрацией на Букинге – здравствуйте, будьте так любезны, я забронировал номер... Негра не дает мне закончить. Check-in в тринадцать ноль-ноль. А раньше можно, видите ли, я только что с самолета, из Москвы. Нет. Москва не производит на нее никакого впечатления. Она, конечно, права. Москва давно ни на кого не производит впечатления. А можно хотя бы – спрашиваю я, пододвигая ногой рюкзак.

Негра молча выходит из-за стойки и открывает мне диккенсовскую какую-то каморку, забитую чуть ли не отказа. Диккенс – это, конечно, была такая же большая ошибка, как Лондон. Письма за

1833-1854 год. Схватил с полки не глядя, собирался Газданова. Не судьба. Нормальные люди вообще давно пользуются электронными книгами. Негра молчит, ждет. Юбка обтягивает ее бедра так, что поневоле думаешь о святотатстве. Тонкие сильные щиколотки, тонкий сильный запах, тонкие сильные каблуки. Нормальный человек давно бы пошутил, спросил, как зовут, пригласил выпить, ввернул бы, в конце концов, купюру с королевой. Нормальный человек вообще не приехал бы сюда на новый год, совершенно один. Я сую рюкзак к чужому туристическому барахлу и выхожу на серую мокрую улицу. Зонта у меня нет. У меня вообще ничего нет. А скоро – и этого не будет...

К часу дня я едва держусь на ногах от усталости и ненавижу Лондон так, как он этого и заслуживает. Огромный, унылый, суетливый город, где никому и ни до кого нет дела. Все едят, торопятся и выпендриваются – многие одновременно. Особенно нестерпимы фрики. Я провожаю глазами вальяжно плывущего господина, похожего на кустодиевский портрет Шаляпина – помните, тот, в огромной шубе, на фоне тошнотворно засахаренной Москвы? Сходство усиливается безгловыми брыльцами и круглой меховой шапкой. Только вместо грандиозной шубы – белый плащ, слава богу, хотя бы без кровавого подбоя. На ногах Шаляпина – резиновые вьетнамки, над ними – парусят штаны нежно-розового, удивительно девичьего оттенка. Те самые панталоны цвета тела испуганной нимфы. Январь. Плюс восемь градусов. Грязно. Да перестану я цитировать когда-нибудь или нет?! Идиотская привычка. Все равно, что грызть ногти. Или глотать волосы. Да еще и не свои, а чужие.

Через дорогу спешит тощая крыска – лиловые колготки, мослы, пельмени вместо губ. Я даже не сразу понимаю – мальчик это или девочка. Но смотрит твердо, с вызовом, как и Шаляпин во вьетнамках. Мол, городской сумасшедший здесь ты, приятель. Ты, а не мы. В толпе кто-то глубоким баритоном хвастается, что завтра улетает в Нью-Йорк на премьеру тырым-пырым-парански. Не

разобрал. Вау! – откликается спутник баритона с подобострастным восторгом, оба в гангстерских костюмах, оба на ходу пьют кофе из Старбакса, в руках у баритона – бумажный пакет на шелковых витых ручках. Баритон заботливо несет его так, чтобы громкий лейбл, вытесненный золотом на белом, видели все. Вау, вау, вау.

Я вдруг понимаю – что именно напоминает мне Лондон. Здоровенный, самодовольный, невыносимый Фейсбук. Karina Ivanova, филе палтуса (на теплой подушке из пряных трав) и Vladimir Lischuk сейчас на Regent Street. Фоточка на Instagramе запечатлела всех троих, залаканных до блеска, безмозглых и совершенно счастливых. Хуже только ЖЖ. И еще Одноклассники. В ЖЖ притворяются умными. В Одноклассниках – молодыми. Все это не для меня. Ненавижу выпендриваться. Не выношу социальные сети. Быть знаменитым – некрасиво.

Ау? Никто не слышит? Я ведь уже говорил, что у меня проблемы с попаданием в такт?

Когда я возвращаюсь в отель – негры там уже нет. Сменилась. На ее месте сидит немолодая женщина с тонким лицом утомленного колли. Немолодая, впрочем, это я загнул. Ей лет сорок – длинные носогубные складки, мягкие мешочки под грустными карими глазками. Ровесница. Торопливо встает, улыбается – и тут же стеснительно прикрывает рукой розовые десна, крупные, влажные, как голыши. Деревянный славянский выговор. Оказывается, мы из Польши, преподавали в Варшавском университете экономику, теперь служим тут. Кризис. Плесень маленьких надежд на руинах великой империи. А where are you from, пан? Ах, не может быть! Совсем никакого акцента! Мы все так скучаем по великой Советской России. Очень, очень скучаем. Не поверите – я тоже.

Я тащу по узкой лестнице рюкзак и чувствую, как она смотрит мне вслед. Я ей нравлюсь. А мне нравится негра. Это не потому, что она молодая, совсем нет. Такие, как негра, нравились мне и в восемь, и в восемнадцать, и в двадцать пять. Всегда.

Ослепительные, злые, знающие себе цену, не знающие, что те, кто готов эту цену заплатить, вечно бродят по жизни с драными карманами. Женщины-проблемы. Я вырос, проблемы остались. Интеллигентная колли из Польши наверняка умна, добра и до отказа набита душевными соковокми. Но мне нравится негра. Я в жизни не спал с такими, как она. Да что там — я с такими толком даже не разговаривал. Надо смириться, наверно — как смиряются с крапивницей. Вы любите землянику? Я — очень. Горячая от солнца макушка, затекшие коленки, эмалированный бидончик с черной облупившейся ранкой у самого дна. Квинтэссенция детства. Пахнет так, что голова кружится. Но даже от одной-единственной ягоды — как. Вздувшиеся пухлые расчески, зуд, отек Квинке. Лакомство, не совместимое с жизнью. Смирись и слушай свой полонез Огинского. Я — смирился.

Комната крошечная — низкие потолки, узкие окна. Клетушка. Туалет похож на тесный лаз имени шаловливой Алисы. Разве что расположен горизонтально. Если открыть душевую кабину, на унитаде уже не поместишься. Я прикидываю, и выбираю душ. Во времена Диккенса пришлось бы обливаться из кувшина. И черт меня только дернул перепутать книги! Теперь придется две недели выслушивать его нытье — вперемешку с безудержной похвальбой. Вот уж кто мигом вылез бы в тысячники и собирал миллионы лайков. Чарльз Джон Хаффем Диккенс.

Британский музей — большая и бестолковая свалка. Как будто ребенок опрокинул и рассыпал коробку с игрушками. С ворованными, кстати, игрушками. Но ведь ребенок! Какой с него спрос? Я брожу среди наваленных кучей ассирийских львов и египетских саркофагов — ни логики, ни смысла, ни чувства времени. Зато можно наповал убить первый из четырнадцати дней. В одном из залов на полу прямо сидит малышня — пухлые пятилетки, похожие на маффины всех стадий пропеченности — от густо-коричневого до совсем белого, тестяного. Вон тот, самый темненький, мог бы родиться от негры. Мог быть ее сын. Я с нежностью смотрю на плюшевую черную макушку. Нет, не плюшевую

даже – махровую, как полотенце. Такой миляга! Миляга поднимает глаза и молча показывает мне толстенький средний палец.

Остальные озираются, разинув рты, слушают экскурсоводшу, которая трещит с такой скоростью, что даже я едва разбираю половину. А ведь я вообще-то синхронист. Вольный каменщик на строительстве Вавилонской башни. Привык ворочать глыбы чужой, гугнивой, едва членораздельной речи. Строить из них кружевные, осмысленные конструкции. Как правило – мосты. На большее, я, к сожалению, не способен. Обычный мастеровой. Не творец. Нет, не творец.

Экскурсоводша продолжает трещать, высыпая на круглые маленькие головы сухой несъедобный горох – даты, даты, даты, каркающие имена. Сама косит на меня тревожными очками – ты кто такой? Давай до свиданья! Чего застыл среди доверчивых лилипутов? Все правильно, я бы тоже напрягся, если бы к моим (а уж тем более – не к моим!) детям подошел какой-то мутный мужик средних лет – черт их разберет, этих интеллигентов. Что у них на уме. Уж лучше честный, старорежимный гопник. Так же смотрела тетка из опеки – все настолько повидавшая, что уже даже не злая. Одиноким белым мужчиной сорока лет традиционной ориентации, не женат, не был, не был, не состоял. Каждый пункт анкеты – клеймо. В Америке с такими данными я вообще был бы изгой. Да и у нас, честно говоря...

Вы кого хотите? – спросила тетка, привычно, как в магазине, нет – даже как родственница, интересующаяся назревающим потомством дальней родни, хотя на самом деле ей – по фигу метель. И охота же людям плодить спиногрызов! Девочку, – признался я, доверчиво улыбаясь, чистая душа, я, правда, хотел дочку – маленькую, чтобы плести косички, расправлять воланы на платьице (сзади, чтоб непременно бант). Сандалики с божьими коровками. Вереница розовых барби. Будет тянуть за штанину, смотреть снизу вверх и говорить: «Папа!» Тетка тихо спросила – вы с ума сошли? Кто ж одинокому мужику девчонку-сироту доверит? И посмотрела так, что я вдруг сам перепугался, до мокрой спины, чуть ли не до рвоты, того, что я, может, на самом деле извращенец, просто не знаю об этом, и вот теперь настал час, сработала некая программа – и маньяк внутри моего

живота впервые ворохнулся, впервые шевельнул плечами, продираясь сквозь пленку моих человеческих желаний на свою омерзительную свободу.

Направление дали на мальчика. Да.

Видимо, мальчиков не так жалко.

Шаляпин в розовых панталонах, оказывается, мой сосед. Каждое утро, выходя из отеля, и встречаю его, шествующим мимо паба к вокзалу. Возле паба, кстати, частенько наблевано – я выхожу рано, в час, когда алкаши уже разошлись по домам, а уборщики еще не появлялись. На мое приветствие Шаляпин, кстати, не отвечает – и правильно делает. Как настоящий сумасшедший, он понимает истинную суть ежеутреннего hello, которым я спешу поделиться с ним, с газетчиком, с продавцом кебабов, с каждым, кого я встречаю на своем пути больше одного раза. Я ищу одобрения чужих людей. Оно мне необходимо. Жалкое существо... Даже юродивый это понимает. И как я собираюсь воспитывать сына? Зачем я вообще вляпался в это дерьмо? Это все Настя виновата.

С Настей мы прожили почти год. Вернее, десять с половиной месяцев. Абсолютный рекорд продолжительности. Обычно мои отношения с женщинами не преодолевали двухнедельный рубеж. Так и должно быть, если берешь с тарелки, которая объехала всех гостей, не то пирожное, которое хочешь, а то, что осталось. Мне доставались обломки кораблекрушения. Самые некрасивые, самые пьяные, самые закомплексованные. Иногда все сразу вместе. Больше пары свиданий не выдерживали ни они, ни я. Здравствуй, грусть. А Настя задержалась – маленькая, крепкая, молчаливая. Сразу вымыла у меня посуду, даже чистую. Перетерла, расставила, замочила полотенце со стиральным порошком. Сморщенные от горячей воды кончики пальцев. Рыхлая прохладная задница. Запах Fairy. На вторую встречу вытянула из сумки тапочки – новые, чудовищные, круглоглазые заячьи морды. С биркой. Посмотрела тревожно – мол, не возражаешь? Я промолчал. И она осталась.

Я привык неожиданно быстро. Не к быту, нет — готовил я сам отлично, куда лучше, чем она, да и вообще привык управляться с женскими делами лучше любой домохозяйки. Но вечерами, заходя во двор, я задираю голову и видел в окнах своей двушки свет. И это, оказывается, было важно. Настолько важно, что я честно старался не замечать, что за этот почти год Настя не взяла с полки ни одну из моих книг. Не хотела? Стеснялась? Читала что-то другое и в другом месте? Или просто была обыкновенная дура? Я не знаю, мы, если честно, вообще почти не разговаривали. Да и о чем разговаривать? Сорок лет. Пора, наконец, принимать взрослые решения.

Я купил букет, бутылку хорошего вина, подумал — и прибавил порто, темный, в крепкой увесистой бутылке, Настя любила всякую сладкую дрянь, тошнотворные ликерчики, гнусные крепленые вина, пусть наконец попробует хоть что-то по-настоящему хорошее. Подлинное. Я имел в виду себя, конечно. Идиот. Знаешь что, а выходи-ка ты за меня замуж? Ребеночка родим. Залихватские ухватки приговоренного. Она выслушала, поводила пальцем по клеенке и спокойно ответила. Извини, но — нет. Ты парень хороший, но мне нужно просто в Москве пересидеть. Я замуж потом хочу выйти. По-настоящему.

Справки я собрал неожиданно быстро. На права бы так сдать — но после третьего провала с правами я мысленно распрощался. А ребенка — пожалуйста. Мальчика. Я же сказал, да? Мне дали направление на мальчика. В ноябре я увидел его в первый раз.

Единственное, что делает Лондон выносимым — это парки. Даже в январе они живые. Полно птиц, собак, детей. Народ стрекочет велосипедами, уничтожает сэндвичи. Диккенс бы сказал — уплетает. Он не нравится мне все больше, но я терплю. Давным-давно следовало бы купить что-нибудь вменяемое — умный детектив фунтов за пятнадцать, англичане делают отличные детективы и отличный сыр. Больше у них ничего хорошего нету.

Но я загадал — дочитать эту чертову переписку до конца, продаться сквозь несносную похвальбу, сквозь все причитания о международном авторском праве и покойной Мэри. Диккенс — это моя клятва. Я даже по улицам таскаю его с собой. Если выдержу — значит, все получится, как надо. Значит, его не заберут. И мой мальчик достанется мне.

По-честному, я видел его всего раза три — и не очень хорошо запомнил, потому что ужасно волновался. Мальчик и мальчик — трех с небольшим лет. Худенький. С некрасивой громадной головой — в каких-то странных шишках, точно его колотили. Грудного я, честно говоря, побоялся. Я и этого-то боялся, но все-таки три с половиной года. Забуду покормить — сам, наверно справится. Буду оставлять побольше хлеба, конфет — так, чтобы легко дотянуться. А ножницы наоборот — убрать. И ножи. Все. У меня холодеют и мокнут ладони, когда я представляю себе, как он обрежется. Обольется кипятком. Упадет с лестницы. Нет, еще хуже — я возьму его на руки, споткнусь — и упаду сверху, всей тушей. Я физически чувствую хруст переломанных маленьких костей, болтается запрокинутая голова, скорая — нет, скорую не дождешься, пробки, я бегу в больницу сам, чувствуя, как бухает в груди нетренированное сердце. Дверь, дверь, приемный покой. Поздно, конечно. Умер. Умер.

Я останавливаюсь, и меня рвет — белой, густой, горькой пеной, как будто я бешеный. Прямо на улице, в центре Лондона. Двенадцатого января. Шарахаются во все стороны прохожие. В глазах у многих боязливое и брезгливое уважение. Это надо же так нажраться в середине дня! Я ищу по карманам платок, потом вырываю страницу из Диккенса и вытираю липкий рот. У меня еще есть надежда. Через два дня я позвоню, и мне скажут, что мальчика забрали другие, нормальные, хорошие, взрослые люди. Которые знают, что делать. Которые знают — как. Пусть мне так скажут, господи! Пусть. А еще лучше — я сам не позвоню. Спрячусь, сменю фамилию. Уеду. Квартиру можно продать.

В конце концов, я еще не брал на себя никаких обязательств!

Вечером в отель пришел кот. Толстый, круглый, с толстым круглым хвостом. Встал на задние лапы, сунул морду в стеклянную дверь, беззвучно мякнул. Вроде, постучался. Полячка заахала, засуетилась, побежала открывать – словно кот был долгожданный клиент, выкупивший весь отель на полжизни вперед. Негра бы так не бросилась. Я видел ее пять раз. И ни разу не заговорил. Полячка извлекла из-под стойки пакет с кошачьим кормом, миску. Кот ждал с достоинством, которое и не надеешься встретить в человеке. Потом подошел к миске и деликатно захрустел. Вот, сказала полячка. Невероятно умный. Здесь десять отелей, представляете? Он обходит все. Каждый день? – не поверил я. Нет, засмеялась полячка. Не каждый. У нас он бывает только по средам и пятницам.

И тут я неожиданно спросил – а у вас есть дети? Она покраснела и засмеялась так, что забыла, что нужно прикрывать свои ужасные десна. И сразу стало ясно, что двадцать лет назад она была очень даже ничего. Почти хорошенькая. Конечно, есть – сказал она. Конечно. Сын, дочка. И даже внук. А как же иначе? Действительно – как же иначе?

В первый раз его вывели ко мне на улицу – в комбинезончике, круглого, валкого, как кегля. Сказали, вот, Витя, погуляй с дядей, и я огорчился, что имя такое плебейское – Витя. И еще они сказали – с дядей, а не с папой. Значит, сами не верят. Никто не верит. Даже я сам. Мы гуляли почти час – и я сперва лез к нему с какими-то сюсюкающими вопросами, за которые сам себя ненавидел, и все пытался заглянуть ему под капюшон – мне показалось, что он косоглазый, и я так и не понял, так это или нет, а он все молчал, топал тупыми маленькими ножками, а потом вдруг осторожно взял меня за руку. Я даже остановился от страха, а потом почувствовал, что страшно устал, так что едва добрал до ближайшей скамейки и просто рухнул. Он посидел рядом – тихо, чинно. А потом пошел и принес мне кленовый лист. Надорванный, некрасивый, с отпечатком чужого человеческого копыта. Я выкинул его сразу же, как вышел за ворота.

Такие дела.

Сегодня я, наконец-то, дочитал Диккенса. Сплетник и самовлюбленный неврастеник. Называет детей – своих собственных! – милые малютки. Или это переводчик идиот? Надо посмотреть в Москве – как там в оригинале? Может, не так все и плохо. Когда-то, в школе, я помирал со смеху, читая Домби и сын. Разве Джой Б. – брюква? Больше не помню из этой книжки ни одного слова. Значит, больше там ничего и не было.

Самолет у меня в двадцать три двадцать, check out в отеле – в 12-00. Дождь. Еще одного дня в Лондоне, на ногах, я просто не вынесу. Завалиться в постель, закрыть глаза, спать, пока не приедет такси. Я спускаюсь вниз – всего-навсего заплатить еще за одни сутки, полячка, наверно, даже обрадуется – мы почти подружились. У нее, кстати, красивая дочь – скуластая, с крупным наглым ртом. Даже на фотографии видно, какая она замечательная дрянь.

Но вместо полячки внизу сидит негра. Золотая тоненькая цепочка стекает по ее ключицам, как струйка воды. Нет, я не могу доплатить. Нет, это неважно. Все номера в отеле заняты. Да, я могу жаловаться. Но она просит освободить комнату через двадцать минут. Я управляюсь за пятнадцать.

Рюкзак, морось, голый облезший скверик, вокзал.

Шаляпин в меховой шапке, переступая чавкающими вьетнамками, стоит на переходе, дожидаясь зеленого сигнала светофора. Я машинально открываю рот, чтобы поздороваться, и не говорю ничего. Не дождетесь. Хватит. Надоело. Никакого Лондона, никакого Диккенса. Завтра утром буду в Москве, послезавтра уже на работу. Счастье.

Я достаю мобильный, набираю телефон опеки. Никто не берет трубку, никто, никто, никто. Что ж, значит, это точно судьба. Верней, не судьба. Я договорился, поставил условия – очень простые. Дочитать Диккенса – я дочитал. Ответить на мой звонок – мне не ответили. И ладно. Значит, я совершенно свободен. Я прячу телефон в карман, тащу из рюкзака том переписки великого

классика английской литературы и двумя пальцами, как дохлую крысу, несую к ближайшей урне. Шаляпин и продавец кебабов смотрят на меня с интересом. Я мысленно считаю шаги – один, два, три. Я свою часть ритуала выполнил. Сдержал, как у Пантелеева, свое честное слово.

Облегчение лезет из меня, как пена из сифона. В детстве у нас был такой сифон – круглый, серый, сипатый. Баллончики к нему были страшный дефицит. Не достать. Только теперь я понимаю, как это здорово – не бояться. Не бояться, что придется не высыпаться ночами. Вытирать ему попу. Не бояться, будущего, в конце концов. Того, что, несмотря на все мои усилия и муки, гипофиз возьмет свое, сработает проклятый вейсманизм-морганизм и этот чужой некрасивый мальчик вырастет полиграф-полиграфычем шариковым, наркоманом, человеческим мусором – и сбежит из дома в четырнадцать лет. Это вообще было обычное помрачение ума. Временное помешательство. Теперь я здоров.

Я бросаю Диккенса в урну – со всем его культом сиротства, газетными ухватками, невыносимым характером. Всю жизнь притворялся добрым, а сам издевался над бедным Андерсеном. Так покойся же с миром. Аминь.

Светофор мигает. Я поправляю рюкзак.

И тут у меня в кармане звонит телефон.

Тарасов Олег Анатольевич?

Да. Это я.

Тарабабабабаева – не разобрал – из чего-то там, опять не разобрал – беспокоит. Можете завтра забирать ребенка.

Какого ребенка?

Вашего.

Светофор горит таким зеленым, что больно смотреть.

Шаляпин легонько толкает меня в спину и недовольно бурчит – ну, чего пристыл?

Я смотрю, как он переходит дорогу, заметно прихрамывая, безумный дикий барин в розовых панталонах, потрескавшиеся грязные пятки, сутулая спина – как будто в будущее свое смотрю. И вдруг понимаю, что Шаляпин говорил со мной по-русски.

Я возвращаюсь к урне, вынимаю из нее Диккенса и догоняю

Шаляпина до того, как он сворачивает в переулок.
На, говорю я тоже по-русски и протягиваю книжку ему.
Держи, отец. Это тебе.

Первая публикация в журнале Сноб (декабрь 2012 – январь 2013 г.)

Об авторе: МАРИНА СТЕПНОВА

Родилась в городе Ефремове Тульской области. В 1981 году семья поселилась в Кишинёве. Первые три курса училась на филологическом факультете Кишинёвского университета, затем перевелась на факультет перевода Литературного института. В аспирантуре Института мировой литературы им. М. Горького изучала творчество А.Сумарокова. Работала главным редактором в специализированном журнале по безопасности «Телохранитель». С 1997 года – шеф-редактор журнала «XXL».

Роман Марины Степновой «Хирург» вошёл в длинный список премии «Национальный бестселлер» в 2005 году, роман «Женщины Лазаря» получил третью премию «Большая книга». Роман «Женщины Лазаря» входил в шорт-листы премий «Русский Букер», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Роман «Женщины Лазаря» переведен на 18 языков. Neкаýalar